

**Салтыков-Щедрин Михаил
Евграфович**

Пестрые письма

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
М69

М69 **Михаил Евграфович С.**
Пестрые письма / Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович – М.: Книга
по Требованию, 2026. – 246 с.

ISBN 978-5-519-84513-7

ISBN 978-5-519-84513-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА.

I.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я совершенно неожиданно лишился употребленія языка. Не то, чтобъ даръ слова совсѣмъ оставилъ меня, но языкъ мой сдѣлался способенъ произносить только служительскія слова: „чего изволите?“, „какъ прикажете“, „не погубите!“ — вотъ и все. А прежде я говаривалъ довольно-таки смѣло. Напримѣръ: „коли я ничего не сдѣлалъ, стало быть, и бояться мнѣ нечего“, или: „коли я никого не трогаю, стало быть, и меня никто не тронетъ“... И вдругъ, словно съ цѣпи сорвался: „не погубите!“

Сначала я испугался. Ежели простое физическое косноязычїе можетъ отравить человѣку жизнь, то еще болѣе отравляющихъ элементовъ заключаетъ въ себѣ косноязычїе нравственное. Со страхомъ спрашивалъ я себя: ужели изреченія, въ родѣ „ежели я ничего не сдѣлалъ“, и т. д., заключаютъ въ себѣ такой угрожающій смыслъ, для прекращенія котораго требовались бы натискъ и быстрота? Но ежели это такъ, то кто же можетъ поручиться, что со временемъ и такое изреченіе, какъ „ваше превосходительство, не погубите!“ — не будетъ сочтено равносильнымъ призыву къ оружію?

Очевидно, это было новое и совсѣмъ особенное проявленіе внезапности, котораго я еще не испыталъ.

Внезапность не составляетъ для меня новости. Я родился на лонѣ ея, воспитывался подъ ея сѣнью и до такой степени съ ней освоился, что даже никогда не спрашивалъ себя, ушибетъ она меня или помилуется. Но я долженъ сказать, что до послѣдняго времени внезапность имѣла несовершенный, переходный характеръ, и это въ значительной мѣрѣ помогало уживаться съ нею. Внезапностей было много, и онѣ постоянно другъ друга побивали. Нелегко было ориентироваться въ этомъ разнообразіи смѣняющихся внезапностей, но при извѣстномъ навыкѣ все-таки можно было нѣчто угадать. Это называлось „ловить моментъ“. Поймалъ моментъ—пользуйся! Не поймалъ — пеняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Нынѣ—эта переходная форма, очевидно, исчерпала все свое содержаніе. Внезапность окончательно отказалась отъ экскурсій въ сферу случайныхъ вѣяній, которыя своею противорѣчивостью подрывали ее; она сдѣлалась единою, неизмѣнною, сама себя довлѣющею. „Моменты“ упразднены; ловить больше нечего.

Но это-то именно и пугало меня. Перспектива внезапнаго приуроченія къ служительскимъ словамъ, безъ надежды, что придетъ другая внезапность и разрушитъ чары колдовства—эта перспектива казалась черезчуръ ужъ суровою. Неясная тревога сжимала сердце мучительными предчувствіями; душа тосковала, мысль безнадежно искала просвѣта...

Однако, прошелъ мѣсяцъ, прошелъ другой—и пелена сама собой спала съ моихъ глазъ. Недоразумѣнія исчезли, тревога утихла, а положеніе до такой степени выяснилось, что въ какую сторону ни оглянись—вездѣ лучше не надо быть.

Прежде всего, я привыкъ, или, говоря точнѣе, приню-

хался. Нельзя было не принюхаться, потому что кругомъ вся атмосфера пропахла прочными служительскими словами. Я не утверждаю, что эти запахи сдѣлались мнѣ достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой заполонили весь мой домашній обиходъ, что, незамѣтно для меня самого, всѣ факторы моей жизнедѣятельности сами начали работать примѣнительно къ новой атмосферѣ и подчиняясь ей давленію.

Я очень хорошо знаю, что привычка играетъ въ жизни человѣка роль по преимуществу бессознательную, и что, слѣдовательно, она въ большинствѣ случаевъ служитъ источникомъ безчисленныхъ недомыслий и даже безнравственностей; но вѣдь для того, чтобъ чувствовать себя вполне удобно въ атмосферѣ служительскихъ словъ, именно это и нужно.

Съ безнравственностью нельзя ужиться иначе, какъ съ помощью безнравственности же, съ безсмысліемъ—иначе, какъ при помощи безсмыслія.

Нужно такое счастливое стеченіе обстоятельствъ, которое отняло бы у человѣка способность отличать добро отъ зла и заглушило бы въ немъ всякое представленіе объ отвѣтственности. Вотъ эту-то именно задачу и выполняетъ привычка. И при этомъ она выполняетъ ее совершеннѣе и съ несравненно меньшей суровостью, нежели другіе факторы, въ томъ же смыслѣ споспѣшествующіе, какъ напримѣръ: трусость, измѣна, предательство и т. п.

И трусость, и измѣна, и предательство предполагаютъ извѣстную долю насильства и боли, и — что всего важнѣе — ни мало не обезпечиваютъ отъ мучительныхъ пробужденій совѣсти, тогда какъ привычка обвиваетъ человѣка бархатной рукой и бережно и ласково погружаетъ его въ мягкое ложе безпечальнаго служительскаго житія...

Любо дремать, зарывшись по уши въ пуховики; любо сознавать, что эти пуховики представляютъ своего рода твер-

дыню. Забравшись въ нее, человѣкъ не только освобождается отъ обязанности относиться критически къ самому себѣ и къ окружающей средѣ, не только становится на недостижимую высоту патентованной благонамѣренности, но и дѣлается безотвѣтственнымъ передъ судомъ своей собственной совѣсти. Ибо о какомъ же судѣ совѣсти можетъ быть рѣчь, коль скоро самая совѣсть, вмѣстѣ со всѣми прочими опредѣленіями челоувѣческаго существа, потонула въ омутѣ привычки?..

Но, кромѣ привычки, въ дѣлѣ умиротворенія мнѣ много помогъ и опытъ. Опытъ — это, такъ сказать, консолидированный сводъ привычекъ прошлаго. Всѣ уступки, компромиссы, соглашенія, которыми такъ богата исторія личная и общая, всѣ малодушія, обходы и каверзы — все это складывается, по мѣрѣ осуществленія, въ кучу, надпись на которой гласить: опытъ или мудрость вѣковъ. Дѣйствія героическія, подвиги самоотверженія, факты, свидѣтельствующіе о беззаветной преданности идеѣ,—все это не болѣе, какъ красивыя безумства, отъ которыхъ никакихъ подспорій въ жизни ожидать нельзя. Правда, что эти безумства освѣщаютъ тьму будущаго, и что плодами ихъ несомнѣнно воспользуются грядущія поколѣнія; но вѣдь, съ одной стороны, подвижничество необязательно и не всякій можетъ его вмѣстить, а съ другой стороны, какъ еще на эти красивыя безумства поглядѣть: иное, быть можетъ, полезно, а другое, пожалуй, и неблагоприятно. Тогда какъ въ той кучѣ, которая именуется мудростью вѣковъ, за чтó ни возьмись — все полезно. Трудность только въ томъ развѣ состоитъ, какъ разобраться въ кучѣ, чтобы вытащить именно ту бирюльку, которая какъ разъ впору. Но, во-первыхъ, всѣ бирюльки болѣе или менѣе впору; а, во-вторыхъ, въ данномъ случаѣ изъ затрудненія выручаютъ очень простые приемы, которые тоже освящены опытомъ, напримѣръ: загадъ, навѣкъ, наметка, глазомѣръ...

Итакъ, привычка — приготовила мягкое ложе; опытъ — обставилъ его всевозможными подтвержденіями прошлаго. Тѣ боли, которыя чувствовались вначалѣ, очень скоро утратили свою жгучесть въ виду цѣлой массы преданій, фактовъ и анекдотовъ, которые въ одинъ голосъ вопіяли, что искони въ основѣ человѣческаго счастья лежали служительскія мысли и служительскія слова. Сущность этихъ мыслей и словъ формулируется кратко: „спасай себя!“ — и человѣкъ, который серьезно посвятилъ себя осуществленію этой задачи и безъ заднихъ мыслей призналъ законность ея, можетъ быть заранѣе увѣренъ, что благополучіе его обезпечено. И, — что всего важнѣе, — обезпечено безъ особыхъ усилій. Ибо стоитъ только отдать себя во власть волнъ современности, и она сама собой устроитъ такую блаженную обстановку, при которой во истину ничего другого не остается, какъ воскликнуть (не съ мысленными оговорками, какъ бывало нѣкогда, а по сущей совѣсти и отъ полноты душевной): „ежели я ничего не дѣлаю — стало быть, и бояться мнѣ нечего!“

„Ничего не дѣлаю“ — это идеаль; но его все-таки не слѣдуетъ понимать буквально. Всмотримся ближе въ его содержаніе, и мы убѣдимся, что онъ вмѣщаетъ безконечное множество разнообразнѣйшихъ и дѣятельнѣйшихъ подробностей. Сегодня поютъ дѣвки въ „Аркадіи“, завтра — будутъ пѣть въ „Ливадіи“, послѣ-завтра — въ *Jardin des familles russes*. И у всякой дѣвки особыя примѣты, о которыхъ во всѣ концы гласитъ стоустая молва. Сегодня пьянство у Донона, завтра — у Дюссо, послѣ завтра — у Бореля. Изрѣдка — газетные столбцы, отъ которыхъ несетъ исподнимъ бѣльемъ Чичиковскаго Петрушки...

Вотъ это-то именно и разумѣютъ, когда говорятъ: „ежели я ничего не дѣлаю, стало быть“...

И совсѣмъ не такъ подла эта жизнь, какъ думаютъ

унылые люди. Мудрость вѣковъ самымъ несомнѣннымъ образомъ свидѣтельствуетъ, что съ незапамятныхъ временъ такъ жили люди, и не только не считали себя посрамленными, но даже, отъ времени до времени, восклицали: „не постыдимся во вѣкъ!“ Во истину ободряютъ себя тѣ, которые думаютъ, что такъ-называемое общество когда-нибудь волновалось высшими вождѣльнiями. Въ сущности, волновались только немногіе, и ужъ, конечно, никто не скажетъ, чтобъ существованіе этихъ немногихъ сколько-нибудь напоминало о благополучіи. Почвенный же и русловой людъ всегда и неизмѣнно имѣлъ въ виду только служительское благополучіе. И онъ былъ, по своему, правъ, ибо какая надобность изнывать надъ отыскиваніемъ новыхъ жизненныхъ идеаловъ, рискуя при этомъ прогнѣвить начальство и насмѣшить массу однокорытниковъ, тогда какъ существуютъ идеалы вполне сформулированные, ни отъ кого не возбраненные и для всѣхъ однокорытниковъ равно любезные?

Я знаю, что унылые люди все-таки не убѣдятся моими доводами и будутъ продолжать говорить: „стыдно!“ Но чтó такое стыдъ? спрашиваю я васъ. Предложите этотъ вопросъ любому прихвостню современности, и онъ, не обинуясь, отвѣтитъ: „стыдъ есть вывороченная наизнанку наглость“. Или, говоря иными словами, и стыдъ, и наглость—игра словъ, въ которой то или другое выраженіе употребляется, глядя по дѣлу. Поэтому, когда до слуха моего доходитъ слово „стыдъ“, то мнѣ всегда кажется, что мимо пролетѣла муха и, никого не обезпокоивъ, исчезла въ пространствѣ.

Итакъ, будемъ благополучны и не постыдимся. Къ этому приглашаютъ насъ привычка и опытъ, а наконецъ и разсужденіе... Да, хоть и кажется съ перваго взгляда, что въ атмосферѣ служительскихъ словъ для разсужденія нѣтъ мѣста, однако это справедливо лишь отчасти.

Разсужденіе бываетъ большое и среднее (малое, какъ чрезчуръ обидное, пускай останется въ сторонѣ). Большое разсужденіе въ служительскомъ дѣлѣ не только не имѣетъ приложенія, но даже прямо препятствуетъ. Собственно говоря, его слѣдуетъ даже предварительно покорить, если хочешь удачно разрѣшить задачу: кто истинно счастливый человѣкъ? Случается, конечно, что и большое разсужденіе можетъ служить источникомъ чистѣйшихъ наслажденій; но тутъ уже предполагаются особенные люди и особенная споспѣшствующая обстановка. Для людей среднихъ и при средней обстановкѣ нужно разсужденіе среднее. Оно одно укажетъ человѣку въ перспективѣ безопасное служительское счастье, одно поможетъ примириться съ этимъ счастьемъ и преподать средства для его осуществленія.

Это среднее разсужденіе какъ разъ кстати явилось ко мнѣ на помощь. Оно убѣдило меня, что прежде всего слѣдуетъ обезпечить безопасность процесса своего личнаго существованія. Жажда жизни, независимо отъ всякихъ обстановокъ (дурныхъ или хорошихъ), сама по себѣ столь существенна, что ей вполне естественно подчиняются всѣ другія жизненныя стремленія и опредѣленія. Жить надо—вотъ главное, хотя бы слово „жить“ было равносильно выраженію „маяться“. Люди, которые годами изнемогаютъ подъ бременемъ непосильныхъ физическихъ страданій, люди, у которыхъ судьба отняла не только радости, но и самое обыкновенное спокойствіе,—и тѣ омертвѣлыми руками цѣпляются за жизнь и коснѣющимъ языкомъ твердятъ: „жизнь есть ликование“. Жизнь—это жестокая неизбѣжность, и не всякому дано поднять противъ нея знамя бунта. Поэтому самая простая справедливость требуетъ, чтобы существа, надъ которыми вѣчно виситъ этотъ Дамокловъ мечъ, имѣли, по малой мѣрѣ, возможность принимать его удары безъ особеннаго изумленія.

Услуги средняго разсужденія въ этомъ случаѣ неоцѣненны. Оно съ необыкновенною ясностью убѣждаетъ, что жизнь обязательна, и затѣмъ указываетъ, для соглашенія съ нею, именно на тѣ средства, которыя въ данную минуту благовременны. Оно не поведетъ въ область эмпиреевъ, заблужденій и риска, а прямо предложитъ оголенную отъ всякихъ экскурсій жизнь, не блестящую и не особенно интересную, но зато общепризнанную и вполне защищенную. Но, главное, оно докажетъ, что все старое, колеблющееся, дававшее только кажущійся просторъ, исчезло навсегда! Да-съ, навсегда-съ. Что корабли сожжены, и, слѣдовательно, ничего другого не остается, какъ совсѣмъ забыть о томъ, что они когда-то были. . .

Такимъ образомъ, привычка—воспитываетъ и предрасполагаетъ; опытъ—свидѣтельствуетъ и подтверждаетъ; разсужденіе—убѣждаетъ и преподаетъ нужныя средства. Совокупность всѣхъ этихъ функцій производитъ въ результатѣ—психологическій моментъ.

Именно этотъ психологическій моментъ и выручилъ меня въ трудную минуту.

Во-первыхъ, онъ ввелъ меня въ заколдованный кругъ патентованныхъ русскихъ пословицъ.

Во-вторыхъ, онъ убѣдплъ меня, что жизнь обязательна, и что сохранить и обезпечить спокойное теченіе ея можно только при помощи приспособленій, вполне отвѣчающихъ требованіямъ современности.

Въ-третьихъ, онъ доказалъ, что какія бы усилія я лично ни употреблялъ, какъ бы широко ни захватывалъ, хотя бы даже „жегъ сердца глаголомъ“ (на что, впрочемъ, ни малѣйше не претендую)—все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не замѣтитъ.

Таковы три элемента, при помощи которыхъ достигается

современное человѣческое благополучіе. Но для того, чтобы послѣднее не оставалось только возможностью, но получило практическое осуществленіе, необходимо, чтобы упомянутые сейчас элементы были восприняты не только сознательно, но и вполнѣ искренно. „Мало обличать,—любить надо“—прорицали когда-то наши „почвенники“, тонко инсинуируя, что обличеніе равносильно отсутствію патріотизма и измѣнѣ. Я же, отъ себя, въ превосходной степени прибавляю: „Мало любить; надо, сверхъ того, представить несомнѣнныя таковой любви доказательства“. Разъ эти доказательства представлены, можно смѣло глядѣть въ глаза будущему.

Я не стану говорить здѣсь ни о пользѣ русскихъ пословицъ, въ качествѣ жизненнаго подспорья, ни о томъ, что принципъ самосохраненія искони служилъ главнымъ регуляторомъ поступковъ и дѣйствій почвеннаго человѣка;—все это вещи общеизвѣстныя. Но не могу не остановиться нѣсколько подольше на вопросѣ о человѣческой изолированности,—вопросъ тоже безызывѣстномъ, но который на нашихъ глазахъ пріобрѣлъ очень рѣшительныя и рѣзкія формы.

Я личнымъ опытомъ основательно и безповоротно убѣдился, что человѣку, который живетъ и дѣйствуетъ внѣ сферы служительскихъ словъ, ни откуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько разъ, въ теченіе моей долгой трудовой жизни, я взывалъ: гдѣ ты, русскій читатель? откликнись!—и, право, даже сію минуту не знаю, гдѣ онъ, этотъ русскій читатель. По временамъ, правда, мнѣ казалось, что гдѣ-то просвѣчиваютъ какіе-то признаки, свидѣтельствующіе о самосознаніи и движеніи впередъ; но чѣмъ глубже я уходилъ въ ту страну терній, которая называется русской литературой, тѣмъ болѣе и болѣе убѣждался въ бесплодности моихъ чаяній. Нѣтъ тебя, любезный читатель! еще не родился ты на Руси! Нѣтъ тебя, нѣтъ и нѣтъ.

Русскій читатель, очевидно, еще полагаетъ, что онъ самъ по себѣ, а литература—сама по себѣ. Что литераторъ пописываетъ, а онъ, читатель, почитываетъ. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между нимъ и литературной профессіей существуетъ извѣстная солидарность—онъ взглянетъ на васъ удивленными глазами.—Ахъ, нѣтъ!—скажетъ онъ,—лучше я совсѣмъ не буду „связываться“, чѣмъ добровольно наложу на себя какое-то обязательство!

И какъ скажетъ, такъ и сдѣлаетъ. И когда, затѣмъ, для писателя наступитъ трудная минута, то читатель въ подворотню пшмыгнетъ, а писатель увидитъ себя въ пустынѣ, на пространствѣ которой тамъ и сямъ мелькаютъ одинокіе сочувствователи изъ команды слабосильныхъ.

Это не вѣроломство, не предательство и даже, пожалуй, не трусость; но во всякомъ случаѣ—несомнѣнно безсиліе.

Мнѣ скажутъ, быть можетъ, что у писателя должны быть въ запасѣ свои личныя силы, въ которыхъ онъ обязывается почерпнуть для себя устойчивость... Да, но какія же это силы, коль скоро самой простой мышеловки достаточно, чтобы обратить ихъ въ прахъ?

Спрашивается теперь: ежели ни изнутри, ни извнѣ нельзя ожидать для жизни защиты—гдѣ же ее искать?

.

Именно такъ я и поступилъ. Сначала испугался, но затѣмъ очень быстро очнулся и безпрекословно погрузился въ пучину служительскихъ словъ.

Теперь я жуирую. Цѣлое лѣто провелъ въ переѣздахъ изъ Аркадіи въ Ливадію, и кончилъ тѣмъ, что получилъ флюсъ. Это загнало меня на зимнія квартиры, гдѣ, въ ожиданіи открытія Palais de Cristal, я перехожу отъ Дюссо къ Донону, и отъ Донона къ Борелю. И хотя, по прежнему, „ничего не дѣлаю“, но понимаю, что между прежнимъ моимъ